



## **А. С. ИЗГОЕВ**

### **«Вехи» и «Смена вех»**

#### **I**

Когда в 1909 г. вышел сборник «Вехи», на него взглянули, как на политическое выступление семи лиц, и обрушились на их реакционность. Сотни статей и толстые книги писались исключительно с целью доказать, что семь означенных имяреков — злейшие реакционеры, стремящиеся лишить Россию ее лучшего сокровища. Споров по существу, о том, что собственно говорят «вехисты, чего они желают, правда ли то, что они утверждают, таких споров почти не было. Одни, более крайние противники «Вех», просто кричали авторам книги: вы — предатели, вы — реакционеры, вам нет места среди честной русской интеллигенции, вы сами исключили себя из ее рядов. Другие, более умеренные, говорили: вы нарушаете дисциплину, вы дезертируете из рядов интеллигенции, опомнитесь, вернитесь! Мне всегда казалось, что не стоило изводить так много бумаги для доказательства столь важной мысли о неисправимой реакционности Бердяева или Булгакова, что читающей публике это совсем не интересно. Бели же она продолжала читать «Вехи», выдержавшие в полтора года пять изданий, то потому, что ее интересовали не личности авторов, а высказанные там мысли, и что обсуждение с разных точек зрения этих мыслей было бы для читателей и интересно, и полезно. К тому же, как временны и относительно оказались все эти деления!.. Кто теперь реакционер и кто передовой? Кто стоит вправо и кто влево от правительства? Как все безнадежно перепуталось!

Точно так же, когда в 1921 году в Праге вышел сборник «Смена вех», на него взглянули, как на чисто политическое выступление и отнесли к нему исключительно с этой точки зрения. Правительственная печать приветствовала сборник, как свидетельство признания советской власти интеллигентами, которых, по словам Н. А. Гредескула, никак нельзя заподозрить в подкупности.

Противники советской власти в своих статьях старались, наоборот, набросить более или менее густую тень на личности и намерения авторов сборника. Их третировали в лучшем случае, как поклонников успеха, плетущихся за колесницей победителя и, говоря высоким стилем, перестраивающих свои лиры при каждой смене победителя. От их книги думали отделаться утверждением, что это — идеология для государственных спецов, живущих подачками власти и склонных поэтому превозносить силу власти, рука которой не оскудевает.

«Смена вех» несомненно в гораздо большей степени политическое выступление, чем «Вехи», задача которых состояла не в критике политических позиций русской интеллигенции, а в пересмотре некоторых основных положений ее традиционного, векового мирозерцания. Но при всем этом и к «Смене вех» нельзя отнести только как к злободневному выступлению гг. Ключникова, Устрялова, Лукьянова, Бобрищева-Пушкина, Чахотина и Потехина. Если бы эта книга была только таким политическим выступлением, она представляла бы слабый интерес, и на обсуждение ее не стоило бы тратить ни времени, ни чернил. Другое дело, если в книге, кроме отражения того или иного эпизода злободневной политики, содержится известное движение русской мысли, разработка каких-либо серьезных идейных вопросов. Политически, для данной минуты, выступление ген. Слащева и изданный им приказ во много раз важнее, значительнее и интересней «Смены вех». Но кому придет охота делать доклады и писать статьи об этом приказе молодого генерала? «Смена вех» — я должен сказать это прямо и определенно — не есть только политический жест. Это — известный шаг в истории русской мысли и — прибавлю — в группе тех идей, семена которых были заложены в старых «Вехах».

Авторы «Вех» не могут, конечно, взять на себя ответственность за мысли сотрудников «Смены вех», в особенности таких, напр., как Бобрищев-Пушкин, людей совершенно им чуждых по всему моральному и идейному складу. Но нельзя отрицать, что такие люди, как профессора Устрялов и Ключников, исходят из круга идей, близких к взглядам авторов «Вех». Тут возможно обсуждение вопроса по существу.

В этом споре по существу важно указать, что в построениях названных авторов — правда и что с этой правдой несогласно и несовместимо.

## II

«Смена вех» в очень большой степени — чисто политическое выступление. С этой точки зрения книга обладает известным единством. Есть нечто объединяющее всех шестерых авторов. Их объединяет

призыв к интеллигенции: идите работать с советской властью, поддерживайте и укрепляйте ее, ибо она творит русское национальное дело, не смущайтесь ни ее коммунизмом, ни ее интернационализмом. «Проходит пора, — пишет Потехин, — когда Россия служила целям III Интернационала. III Интернационал начинает быть сильным орудием в достижении национальных целей России... Национальная толща незаметно перерабатывает интернациональную власть, приспособляя ее к своим потребностям». Что же касается коммунизма, то, по словам Устрялова, «чтобы спасти советы, Москва жертвует коммунизмом». «Коммунизм, как практическая доктрина, — уверяет С. С. Чахотин, — в современной обстановке по-прежнему остается для нас той же утопией, что и раньше, но он может и должен измениться, если хочет так или иначе войти в реальную жизнь, и во многом мы, интеллигенция, можем способствовать этому процессу», Потехин идет даже так далеко, что решает утверждать: «Коммунистическая система как бы была призвана выявить к жизни и оформить индивидуалистические, собственнические основы человеческой природы».

Вот в сущности и все содержание политического выступления «Смены вех». С наибольшей подробностью, т. е. с примерами, полемическими выступлениями и украшениями, со всеми онерами и красотами адвокатских и прокурорских речей эта сторона дела представлена у Бобрищева-Пушкина. На его же статье можно лучше и легче всего видеть всю слабость этой позиции.

Авторы «Смены вех» призывают работать совместно с правительством, не смущаясь коммунизмом и интернационализмом, уверяя, что коммунизм изживается и перерабатывается, а интернационализм служит национальным интересам России. Если бы такие заявления сделаны были *expressis verbis*\* Лениным или Троцким, они бы представляли, конечно, большой политический интерес для данного дня. Но насколько значительны эти заявления в устах Потехина или даже Устрялова или Бобрищева-Пушкина? Как историки, учитывающие будущее, они не сказали ничего нового. Такие предсказания делались неоднократно.

Надо быть, однако, справедливым. Попадают и у Бобрищева-Пушкина сильные места и удачные удары. Страницы, посвященные террору, не лишены подлинного воодушевления, сквозь которое, однако, нет-нет да и пробьются заказные ноты адвокатского или прокурорского тона. Развивая мысли проф. Устрялова, Бобрищев-Пушкин наносит сильный удар Врангелю: «Польша встала из гроба, — пишет

---

\* отчетливыми словами, совершенно четко, с полной ясностью на латинском языке.

он, — с прежним своим характером, только еще озлобленная за пережитые страдания, и ее вождем, ее кумиром был поставлен тот, кто собирал польские легионы, бившиеся против России в немецких рядах, кто наиболее ненавидел Россию. Тогда раздался патриотический призыв Брусилова: Защищайте Россию! И тогда же Врангель ударил в тыл защищавшей Русскую Землю Красной Армии» (188). «Если Врангель не мог привести свою армию на призыв Брусилова, создав святой и великий «русский» праздник примирения (выражение проф. Устрялова), то должен был, по крайней мере, заявить, что ни один выстрел из Крыма не потревожит Красную Армию, пока она не справится с напавшим на Россию врагом. Этою благородной позицией ген. Врангель дал бы бессмертный пример патриотизма, на который ссылались бы в будущих поколениях при так часто возникающем конфликте внутренней политической розни с общою защитой отечества» (139).

### III

Несомненно, однако, что в статьях Устрялова и Ключникова имеется нечто большее, чем злободневная публицистика, редко переживающая нынешний день. В указанных статьях есть попытка идейно осмыслить и осознать коренные и глубокие явления русской мысли, дать идейные продуманные ответы на вопрос, почему русская интеллигенция в 1921 году призывалась идти «в Каноссу», к советской власти для совместной работы на благо русского народа. Пройдет нынешний момент. Нынешнее положение может измениться. Сообразно с этим видоизменятся и публицистические призывы и полемические выпады. Но статьи Ключникова и Устрялова будут, вероятно, и в дальнейшем цитироваться, как свидетельство глубокой борьбы, которую вела заблудившаяся и больная русская интеллигентская мысль, пытаясь вырваться на поверхность, чтобы жить и развиваться на вольном просторе, а не в подполье.

Ключников исследует свою тему под углом зрения культурно-этическим, Устрялов — социально-политическим. Мысль Устрялова более ясная, отчетливая, последовательная. Ключников старается взрыть как можно глубже, а в результате он часто туманен, неясен, вместо отчетливой мысли дает только ряд слов, связанных лишь более или менее отчетливым настроением.

Ключников принимает характеристику интеллигенции, данную старыми «Вехами». «Вехи», — говорит он, — обвиняют русскую интеллигенцию в том, что она лишена достаточно широкого и возвы-

шенного идеала, что она проникнута духом вредного самообожания и самонадеянности, что ей чуждо чувство права и уважения к дисциплине, что она не ищет самоусовершенствования и не понимает значения личности, что она оторвана от народа, антигосударственна, анархична и нигилистична, что основной чертой ее характера является необузданный максимализм. Теперь многие охотно сказали бы наверное: «Вехи» изобразили всех русских интеллигентов как большевиков, и русская интеллигенция обиделась на них за это. Примем такую формулировку, и мы сами и посмотрим, правы ли были «Вехи», считая русскую интеллигенцию в сущности своей большевистской? А если правы, то следовало ли ей обижаться на них?» (21–22).

Ключников обозревает разные группы русской интеллигенции, от Милюкова, Керенского, социалистов-революционеров до самих авторов «Вех», и приходит к выводу, что «большевизм» в широком смысле слова общ им всем, что все они заражены максимализмом. «Во время революции обнаружилась не борьба большевизма с антибольшевизмом, а борьба разных типов и разных окрасок в лоне одного и того же интеллигентского большевизма». В результате и произошло разделение интеллигенции на большевиков, угадавших веления революции и потому торжествующих вместе с нею, и на большевиков неугадавших» (31). Из среды последних Ключников с особой ревностью обрушивается на социалистов-революционеров. «Непрактичные, недисциплинированные, хаотические по натуре и по историческому воспитанию, такие, каковы они есть, они призваны лишь поддерживать русский хаос и русское государственное разложение» (26). «По их глубочайшему убеждению за ними была и есть вся Россия»... «но стоило им появиться где-нибудь, как тотчас же их сметала либо «кучка гнусных насильников» в лице большевиков, либо «кучка гнусных реакционеров» в лице казаков, офицеров генералов, помещиков и купцов. И все-таки они ни на минуту не сомневаются, что правильно действуют только они» (25). «Пресный с-р-овский<sup>2</sup> большевизм есть самый опасный из всех. С ним, а, быть может, и только с ним одним должна вести сейчас борьбу вся Россия, поскольку она хочет и должна остаться Россией» (26).

Ключников очень высоко ценит мысль П. Б. Струве, что идея долга и ответственности должна была укорениться не только в интеллигенции, но и в народе. Он упрекает Струве, что когда это начало осуществляться, Струве это явление просмотрел и не понял. Между тем революция, совершаемая самим народом, и есть единственный путь, которым народ может взять на себя ответственность за Россию. «Русская революция не захотела деления своих служителей на ду-

ховных аристократов и духовных плембеев... Русский народ во время революции не захотел продолжения своей духовной опеки. Он захотел действовать сам... Долой тех, кто в этот великий момент чуть-чуть не сделал из него лишь паскудных людишек, ценою убийств и грабежей покупающих кой-какие выгоды. Благо тем, кто не отшатнулся от него в преступлениях, вместе с ним взял на себя моральную ответственность за все сотворенное зло и вместе с ним, без остатка растворившись в нем, стал искать общий русский и мировой идеал» (16, 17).

В то время, как народ, идя в революцию, брал на себя ответственность, интеллигенты, на словах даже самые революционные, мечтали об удержании за собой опеки над народом. «Наши революционеры, — пишет Ключников, — в массе своей упорно мечтали о революции во имя народа, но без народа и, быть может, в неосознанных тайниках своей души и впрямь боялись его пуще всех казней власти, как рекомендовал Гершензон». Ключников называет пророческой известную фразу Гершензона: «Каковы мы есть... нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». Не понять этих пророческих слов, по его мнению, значило не понять позже «ни своих обязанностей в качестве деятелей революции, ни обязанностей ее истинных вождей, ни вообще всей русской революции, как своеобразного исторического и социологического процесса» (14).

По мере того, как Ключников сам увлекается развитием своей мысли, революционно-славянофильско-народнический уклон ее становится все круче и резче. «Русского рабочего и крестьянина соблазнило не то, что он получит в собственность лишних пять десятин земли... его соблазнила мысль пострадать за рабочих и крестьян, за униженных и оскорбленных всего мира. Чисто по-русски — «пострадать», Он ничего не понимал, когда ему говорили: войей с немцами лично ради себя... Но он поверил и взялся за оружие, когда ему сказали, что он призван убить зло в мире и насадить в нем вечную справедливость» (40–41). Русская революция приобретает, таким образом, всемирный и вселенский характер. Интернационализм изложен языком Достоевского<sup>3</sup>. Эти мотивы старательно обрабатываются и другими участниками «Смены вех». Как и все славянофильские построения, и это не вполне выдерживает фактическую проверку. Не вздумайте спрашивать, почему в первые три года войны с немцами русский солдат «ничего не понимал», а в 1918–1920 г. решил пострадать завесь мир и насадить в нем вечную справедливость, не спрашивайте серьезных доказательств. Найти их трудно. И герои, и беглецы с фронта были

и в 1914–1916 и в 1917–1920 г. Но «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». «Как должен страдать великий народ после неисчислимых жертв теперешнего лихолетия, — патетически восклицает Ключников, — если ценою их он не достигнет великих всеоправдывающих результатов!» (36). Красноречиво обрушивается Ключников на тех, кто верит, что «русский народ, обесчестив, умертвив, а затем, разрезав на куски мертвое тело матери своей России, спокойно утрет пот о лица и примется за очередные дела, как будто ничего не случилось» (36). Как тут не вспомнить знаменитых слов Достоевского в его Пушкинской речи, что «русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться, дешевле он не примирится». «Конечно, — добавлял в 1880 г. не без иронии Достоевский, — пока дело только в теории». Но через 41 год Ключников уже отбросил всякую иронию. Он почти уже нащупал ту грань, за которой русский скиталец «успокоится» и во всяком случае угрел ее своими очами. «Вся русская интеллигенция, — говорит он, — жила и работала в качестве революционной силы для того только, чтобы создать, испытать и завалить Ленина, чтобы сначала через него дать настоящую русскую революцию, а потом через него же навсегда или надолго преодолеть ее. В Ленине старая русская интеллигенция без остатка исчерпывает и изживает себя». «Русский скиталец» Достоевского и ницшевский сверхчеловек, для рождения которого живут и страдают десятки миллионов людей, сливаются в одном лице. Сама великая русская революция призвана предупредить «ужасы мировой революции, которая при спокойном торжестве революционной России легко вылилась бы в мирную и безболезненную эволюцию». Все это, конечно, в достаточной мере туманно! и фантастично. Доводам от разума тут нет места. Напрасно было бы искать ясной и определенной мысли в этих мечтаниях измученной души. Не меньшим туманом окутана и будущность, ожидающая самое Россию. Ключников уверяет нас, что все будет хорошо. Совершится искупление. «Ленин — это та цена, которой куплена новая Россия, а с нею и новая русская интеллигенция»... (49). Переделывая все, великая русская революция впервые оказывается способной «открыть пути для яркого и могучего русского либерализма, как после нее же впервые становится возможен прогрессивный и устойчивый русский консерватизм» (43). При помощи Достоевского и Ницше ученик Маркса и Энгельса<sup>4</sup> превращен таким путем в «героя» Карлейля.

Не менее любопытное превращение произошло тем временем и с самой русской интеллигенцией. «Будущая русская интеллигенция, вышедшая из горнила великой революции, наверное будет такою, какую ее отчасти видели, отчасти хотели бы видеть авторы «Вех» (49).

Новые и старые вехи как будто сливаются и приводят в одну и ту же гавань. Но не забудьте, что все время мы с Ключниковым плаваем в тумане, что он все время грезит, что никаких вех не видно, и придет ли судно в гавань или разобьется о скалу — предсказать нет пока никакой возможности.

#### IV

Не чужд славянофильских фраз и Устрялов. «Революция, — говорит он, например, — гениально оживив традиции Белинского, заставит Россию с потрясающей силой пережить и правду Тютчева, Достоевского, Соловьева». Но в сравнении со статьей Ключникова статья Устрялова — образец сухого логического анализа социально-политического положения России. От старых «Вех» Устрялов унаследовал чувство патриотизма и идею «Великой России». «Россия должна остаться великой державой, великим государством. Иначе и нынешний духовный ее кризис был бы ей непосилен» (ту же самую мысль высказывает, как мы видели, и Ключников). «Так как власть революции — и теперь только она одна — способна восстановить русское великодержавие, международный престиж России, — наш долг во имя русской культуры признать ее политический авторитет».

Цели Советской России и национально-мыслящих русских людей сходятся, хотя побудительные мотивы у тех и у других различны. Благодаря революции, интернационализм совпадает с русским национализмом. «Советская власть будет стремиться всеми средствами к воссоединению окраин с центром во имя идеи мировой революции. Русские патриоты будут бороться за то же во имя великой и единой России. При всем бесконечном различии идеологий, практический путь един... Большевизм, с его интернациональным влиянием и всюду проникающими связями, становится ныне прекрасным орудием международной политики России». В то время, как большевики невольно являются в истории силой, полезной русскому национализму, «противобольшевистское движение силою вещей слишком связало себя с иностранными элементами и поэтому невольно окружило большевизм известным национальным ореолом, по существу чуждым его природе». «Красная Армия, — напоминает Устрялов, — довлеет себе и не зависит от знатных иностранцев» (59). Выше было указано, как, вдохновленный этими устряловскими мыслями, Бобрищев-Пушкин нанес сильный и жестокий удар барону Врангелю. Вообще, надо сказать, что и Бобрищев-Пушкин, и Лукьянов, и Чахотин, и Потехин живут, главным образом, идеями Устрялова, только изредка внося в них свои оттенки.



Н. В. Устрялов всецело воспринял одну из основных тактических идей Ленина, сводящуюся к тому, что чем большие требования, больший запрос предъявляет к жизни политическая группа, тем больших результатов она достигает. Я могу эту мысль Ленина выразить в такой форме; если разбежишься как для прыжка на сажень, то в итоге удастся прыгнуть на полтора аршина. Когда Ленин впервые в 1907 году обосновал свое политическое правило, он хотел указать, что только под влиянием московского восстания царское правительство С. Ю. Витте дало избирательный закон 11 декабря 1905 г. и, действительно, созвало Гос. Думу. По мнению Ленина, без московского восстания не было бы и первой Думы. В 1918–1920 годах политическая обстановка резко изменилась. Восстание 25 октября 1917 года имело своим результатом не то или иное давление на власть, а смену самой власти. Власть всецело очутилась в руках коммунистов. Казалось, они получили полную возможность осуществить свою полную программу. Так оно сначала и было объявлено. В Учр. Собрании, напр., Н. И. Бухарин от имени партии требовал «немедленного» осуществления «социализма», «теперь же»<sup>5</sup>. Разбег на саженный прыжок, казалось, и должен был привести к прыжку на сажень. Но по мере того, как революция воплощалась, размеры прыжка все сокращались. Тактическое правило Ленина действовало и при новом положении, не без ущерба для коммунистической программы. Разбежавшись на коммунизм, можно прыгнуть только до «новой экономической политики».

Подхватывая это тактическое правило Ленина, Устрялов дает ему свое обоснование. «Великая революция, — пишет он, — несомненно вносит в мир новую идею, одновременно разрушительную и творческую. Эта идея в конце концов побеждает мир... Революция гибнет, бросая завет поколениям. А принципы ее с самого момента ее смерти начинают *эволюционно* воплощаться в истории» (61). Эта «новая идея», этот «запрос русской революции к истории» — идея социализма и коммунизма. «Отсюда ее экстремизм... во отсюда же и неизбежность ее «неудачи» в сфере нынешнего дня».

Устрялов — крепкий и убежденный государственник. Он обмолвился очень характерным для него афоризмом: «Власть представляет собою всегда более веский продукт народного гения, нежели направленные против нее бунтарские стрелы». Властью надо дорожить, как властью. Если сломят большевиков, то «на место суровой и мрачной, как дух Петербурга, красной власти придет безграничная анархия, новый пароксизм «русского бунта», новая разиновщина, только никогда еще небывалых размеров».

Развивая эти устряловские мысли, Чахотин, приглашающий интеллигенцию идти «в Каноссу», говорит: «Кто бы ни был у власти сейчас, но раз он способствует процессу собирания и упрочения России, он должен получить поддержку со стороны мыслящей и патриотически настроенной интеллигенции. Надо укрепнуть физически и экономически, надо — насколько возможно при данных условиях — укрепить национальный дух, а там — жизнь покажет. Окрепшему организму возможные потрясения не будут так опасны, а, может быть, к тому времени условия настолько изменятся, что все обойдется и без потрясений» (157).

Сам Устрялов верит именно в эту вторую возможность. «Нужно сделать Россию сильной, иначе погаснет единственный очаг мировой революции», — такова, по мнению Устрялова, основная мысль Ленина. А так как «только в изживании, преодолении коммунизма — залог хозяйственного возрождения государства», то «чтобы спасти Советы, Москва жертвует коммунизмом», ибо «методами коммунистического хозяйства в атмосфере капиталистического мира сильной Россию не сделаешь».

Верно ли это? Не приписывает ли Устрялов своих мыслей Ленину, за которые последний и не думает отвечать? Устрялов верит в то, что прав именно он, и видит доказательство этого в том, что в нашей революции «термидор», связанный во Франции с казнью Робеспьера, совершается руками самой коммунистической власти. «Во главе революции все те же знакомые лица, но они сами вынужденно вступили на путь термидора» (71). В чем же заключается этот «путь»? «Путь термидора — в перерождении тканей революции, в преобразении душ и сердец ее агентов» (70). «Начинается “спуск на тормозах” от великой утопии к трезвому учету обновленной действительности и служению ей... Тяжелая операция — но дай ей Бог успеха... Революция спасается от собственных излишеств. И горе тем, кто помешает ей в этом — с трибун ли красных клубов, или из жалких эмигрантских конур»... (71). Итак, термидор нам не страшен. Он почти уже пройден. Готовьтесь, граждане, к дальнейшему пути...

## V

Некоторые мысли и выражения Ключникова и Устрялова как будто показывают, что они взяли старые «вехи», да только обозначили ими новый фарватер, который должен надежнее и вернее привести к искомой цели, в желанную гавань «Великой России». Так ли это? Нет, не так. Между старыми и новыми «вехами», при некотором наружном

сходстве, огромное принципиальное различие. Перед нами интеллигенты двух разных типов, с разными моральными физиономиями.

Старые «Вехи», упрекая русскую интеллигенцию в антигосударственности, заговорили о «мистике государства». Авторы «Смены вех» горячо откликаются на эту мысль. Я не собираюсь определять, в чем она состоит. Само слово показывает, что в понятии есть какой-то неразстворимый, непостижимый до конца разумом, остаток. Нельзя считать серьезным объяснением подобных понятий замену одного непонятого слова другим, столь же непонятым. Разве непонятое нам в происхождении вселенной или в превращении видов становится на самом деле понятным оттого, что мы скажем, что результат получается от действия сил на протяжении миллионов или сотен лет?

Когда говорят о «мистике» государства, имеют в виду следующее. Л. Н. Толстой, конечно, прав, что война и смертная казнь — убийство, что полиция — насилие, что шпионство, доносы, клевета — гнусность, что дипломатическая ложь — простой обман и т. д. Прав он также, когда говорит, что государство пользуется всеми этими убийствами, насилиями, гнусностями, обманом и проч. А, в конце концов, все-таки Л. Н. Толстой неправ, когда рисует государство каким-то орудием дьявола для порабощения и мучения людей. И сознательно, и стихийно огромные людские массы, вынуждаемые к совместному сожигательству, всегда рождали из своей среды государственную власть. Люди мучились и терзались, перегрызали друг другу горло, пока, наконец, каким-то в конце концов все еще таинственным процессом, не рождали жизнеспособной государственной власти, под покровом которой и устраивали свою жизнь. Народные массы всегда чувствовали справедливость слов Тэна<sup>6</sup>: «Есть нечто худшее, чем дурная власть, это — отсутствие всякой власти», они только не умели так отчетливо выразить свою затаенную мысль.

Преступления и худшие человеческие страсти являются необходимым орудием блага для человечества, орудием, без которого оно не может жить и развиваться. Таков непререкаемый факт. Такова бесспорная историческая истина, что бы ни говорили анархисты всех типов. Но из того, что государство, как учат история и марксизм, рождается из группы захватчиков, не следует, что простое насилие и есть государственная власть. Члены группы, захватившей или создавшей власть, пользуются этим в личных интересах, и сплошь и рядом только с такой точки зрения и смотрят на весь процесс. Но на самом деле один захват власти группой лиц для удовлетворения своих личных интересов никогда в истории не создавал государства. Завоеватель превращался в новую государственную власть, когда так или иначе

он начинал служить интересам народа. Идея служения неизменно присоединялась к насилию и освящала его. Потребность в таком освящении всегда сознавалась носителями власти. Совокупность всех этих явлений и позволяет говорить о «мистике» государства.

Исторический материализм объявил эту мистику упраздненной и загадку разрешенной. Государство — организация господства и насилия одного класса над другим. До сих пор государство было организацией насилия, созданной буржуазией для подавления пролетариата. Когда пролетариат захватит в свои руки власть, он организует все эти средства насилия для подавления буржуазии и других враждебных ему классов. Только и всего. К этому и сводится вся «мистика». Покров Изида<sup>7</sup> сорван и «тайна» государства обнажена.

Чем бы ни закончилась для русского народа нынешняя революция, она всемирна и велика уже тем одним, что дала возможность всему человечеству проверить на живом теле России главные идеи, которым вот уже сто лет жила европейская передовая революционная мысль. Есть один и бесспорный способ такой проверки: попытка применения данной мысли на практике. До 1917 года заграничные и русские революционеры только рассуждали о социализме и коммунизме. Русские большевики имели смелость приняться за их осуществление.

За время нашей революции я ни о чем так часто не думал, как об изумительных словах Чаадаева в его первом «Философском письме». «Мы, — писал он 80 лет тому назад, — некоторым образом народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно, но кто может сказать, когда мы обречем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать прежде, чем исполнится наше предназначение?»

И вот этот «исключительный народ», возведший «мистику государства» в перл создания в образе единого человека, который, в совести своей, наедине с Богом, решает вопросы о судьбе, о крови и достоинии миллионов людей, этот народ решил «дать миру важный урок», уничтожить всякую «мистику государства», показать его голую тайну.

Мы все могли видеть, что случилось. На другой же день после 25-го октября почувствовалась острая потребность в освящении со-творенного акта и создавшегося положения. Класс, в данном случае пролетариат, был объявлен богом, имеющим право на все жертвы, вплоть до самой последней. Воля и интересы бога были объявлены

высшим критерием. Произошла полная переоценка ценностей. Войско, смертная казнь, исключительные суды, тайная полиция, шпионство, тайная дипломатия, все, что до сих пор клеймилось, как преступление и бесчестность, были освящены и возвеличены, как только они обращены были на службу пролетарскому классу.

Но в наш скептический век трудно создавать богов. Трудность эта вскрылась чуть ли не в первый день, когда сразу же обнаружилась неясность, идет ли речь о божестве в одном или в двух лицах. Одни и те же уста одновременно говорили и о «диктатуре пролетариата», и о «*рабоче-крестьянской*» власти. Классовое освящение государственной власти задачи не разрешило. Одного служения за страх, а не за совесть, было явно недостаточно. Волны обмана и бессовестности подтачивали и грозили обрушить стены строящейся государственности. И вот раздалась сначала робкие и неуверенные, стыдливые голоса, которые, вопреки всем традициям марксизма, предлагали подвести под государство более широкий фундамент, чем класс, освятить государственную власть идеей национального служения России. Хотя в Марксе, как и в Гомере<sup>8</sup>, каждый может черпать все, что ему надо, все же для марксистов, даже наиболее опытных в извлечении цитат, эта деликатная операция была не легка.

Авторам «Смены вех», марксизмом не связанным, она далась без труда, почти шутя. Тот факт, что изо всех боровшихся в России общественных групп одним большевикам удалось не только захватить, но и удержать в своих руках власть, несомненен. Исходя отсюда, авторы «Смены вех» и взяли на себя смелость под классовое, пролетарское государство подвести национальный, внеклассовый фундамент. Но кто их на это уполномочил? Принимают ли такую постройку сами хозяева, коммунисты? Вопрос этот имеет огромное, решающее значение. При отрицательном ответе на него вся постройка «Смены вех» рухнет, как карточный домик.

Как бы мы ни относились к марксистскому коммунизму, нельзя же забывать, что это — стройная, могучая, интернациональная доктрина, соперничающая по своему влиянию на массы с наиболее сильными религиозными учениями. Плохо верится, чтобы в какой бы то ни было момент своей жизни, на подъеме или при спуске, коммунизм обратился к авторам «Смены вех» за идеологической национально-государственной одеждой. Не переоценивают ли они соблазн цезаристских идей и настроений? Правдоподобнее, что коммунизм просто-напросто на одном из этапов предложит новым пилигримам надеть общую казенную форму.

Но есть тут нечто еще более важное.

Старые «Вехи» указывали на мистику государства. От людей, осуществляющих государственную власть, сопряженную с применением насилия, они требовали углубленного отношения к ней, пропущенного через горнило совести. Но они были далеки от обожествления государства. Их Бог был несоизмерим ни с каким общественным учреждением и ни с каким человеческим установлением. Человек познает Бога в голосе своей совести и в велениях признаваемой им Церкви. Он исполняет приказы государства в силу тех или иных соображений, служит ему не за страх только, но и за совесть, но он не может и не должен видеть в приказах государства проявление Божественной воли.

Между тем авторы «Смены вех», когда они говорят о мистике государства, явно, хотя, быть может, и бессознательно, обожествляют его. Они напоминают римских республиканцев, обожествлявших своих цезарей. *Divus Imperator*<sup>9</sup>, божественный цезарь, и был тот бог, на которого образованные римляне возлагали свои надежды в борьбе с христианством и анархией. С этой точки зрения «Смена вех» является одним из симптомов крепнущих бонапартистских, цезаристских настроений.

Ключников вполне правильно и определенно указал на основное различие между «Вехами» и «Сменой вех». Вы, — говорит он, — дали верную характеристику русской интеллигенции, вами верно указаны ее отрицательные черты, верно указана и грозящая от этого России опасность. Но вы сделали одну ошибку: забыли указать, что до революции эти черты интеллигенции были не минусом, а плюсом, не пороком, а достоинством. Для подготовки революции такая именно интеллигенция и нужна была. Но уже для руководства революцией вся она, кроме большевиков, оказалась непригодной. А для послереволюционной, творческой, созидательной работы она должна радикально видоизмениться, именно в том духе, как ее «хотели бы видеть авторы «Вех». Видоизменение это совершается через Ленина. «Ленин, — напомню слова Ключникова, — это та цена, которую куплена новая Россия, а с нею и новая русская интеллигенция».

Вот с чем ни в коем случае не смогут согласиться авторы старых «Вех». Подчинить весь моральный и духовный облик интеллигенции той или другой политической системе — значит разойтись с ними в самом существенном, в основе основ. В области политики сплошь и рядом истина по ту сторону Пиренеев оказывается заблуждением по эту. Но в области духовной жизни человека есть истины, одинаково истинные по сю и по ту сторону, истины, которые мы на нашем бледном языке называем абсолютными, в жертву которым люди сознательно приносят даже свою жизнь.

«Смена вех» утверждает, что те духовные черты, которые были достоинством интеллигенции при Романовых, становятся недостатком теперь и должны видоизмениться. Но и Ключников и Устрялов бессильны убедить в этом кого-либо из интеллигентов. Если мы были хороши «каковы мы есть» при Романовых, то должны оставаться такими же и после них, — ответят они.

Старые «Вехи» указывали на то, что было дурно я остается дурным как при старом режиме, так и при нынешнем, так и при всяком другом. Оттого-то их голос и звучал убежденно и сильно, «Для патриота, любящего свой народ и болеющего нуждами русской государственности, — писал С. Н. Булгаков, — нет сейчас более захватывающей темы для размышлений, как о природе русской интеллигенции, и вместе с тем нет заботы более томительной и тревожной, как о том, поднимется ли на высоту своей задачи русская интеллигенция, получит ли Россия столь нужный ей образованный класс, с русской душой, просвещенным разумом, твердой волей, ибо, в противном случае, интеллигенция в союзе с татарщиной, которой еще так много в нашей государственности и общественности, погубит Россию». Духовная сила этих слов объясняется тем, что за ними чувствуется присутствие абсолютного мерила, наличность такой истины, которую говорящий не сложит у ног никакой власти, кем бы она ни была возглавлена.

Мы должны быть государственниками и патриотами, должны исповедовать определенные нравственные начала независимо от того, при каком государственном строе мы живем. По нашей совести и сознанию мы должны судить те или другие действия власти, а не видоизменять нашу совесть и сознание в зависимости от того, в чьих руках находится в данное время власть.

У интеллигенции не было, нет и не будет физической, материальной силы. Эта сила принадлежит различным общественным группам, борющимся друг с другом и в ослеплении этой борьбы мечтающим об уничтожении одна другой. Сила интеллигенции только моральная, духовная. Когда этой моральной силы интеллигенции не ощущается в стране, гармония жизни резко нарушена, и одна общественная группа пожирает другую с огромным ущербом не только для всего целого, но и для себя самой. Теперь мы переживаем такой момент. Русская интеллигенция лишилась своей моральной силы. Интеллигенция обретет свою духовную силу лишь тогда, когда высший критерий своих мнений и поступков она найдет не в преходящих земных или общественных ценностях, а в ценностях абсолютных. Лишь тогда она сможет ставить и разрешать конкретные государственные и мировые задачи. Иначе они разрешатся без нее. Такова была идея старых

«Вех», отвергаемая новыми. А все, что мы пережили с 1909 года способно только укрепить в каждом чутком и мыслящем человеке сознание истинности этой мысли. Вне ее нет ни свободы, ни человеческого достоинства, ни духовной силы!

\* \* \*

Каков же общий вывод? Как злободневное политическое выступление, сборник «Смена вех» особого интереса не представляет. Он не приводит в лагерь коммунистов сколько-нибудь заметной, численно или качественно, интеллигентской группы. Он наивен, как попытка использовать «коммунизм» и на «интернационализме» построить здание «Великой России». Скрытые в нем цезаристские соблазны едва ли окажутся столь сильны, как надеются некоторые авторы.

Но как симптом идейного брожения русской интеллигенции, сборник «Смена Вех» и показателен, и интересен, Он свидетельствует, что «патриотическая тревога» все глубже и глубже охватывает русскую интеллигенцию, что старые грехи и болезни признаны, и мысль страстно ищет лекарства. Но рецепты, прописываемые пражскими врачами, дают мало надежды на выздоровление больного. Это все — старые мечты, что существуют какие-то внешние формы жизни, общественной, государственной, интернациональной, которые дадут всеобщее счастье, избавят от всех зол и болезней. Это — заблуждение и мираж. Таких форм общественной, государственной и международной жизни нет. Человек всегда в конце концов останется наедине со своим Богом, со своей совестью и перед ними принужден будет держать отчет. Этим в конце концов и определяется ценность каждого человека.

Наше участие в общественной, государственной и между народной жизни тогда только станет разумным, честным и серьезным, когда в глубине своей души мы обретем не преклонный голос, говорящий: «На этом я стою, и не могу иначе»...

